

Лилии молчат



Трент Арнольд

Трент Арнольд

Лилии молчат

<https://litres.ru/74109031>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Они молчат и пахнут. Быть рядом. Не давить. Но присутствовать».

Десять историй о людях, которые разучились говорить, звонить, плакать, открывать окна и смотреть в зеркала. Их объединяет одно: глубокая тишина, в которой каждый пытается найти свой голос. Психолог записывает их рассказы в блокнот, сам того не замечая, что слушает отражения своей собственной жизни.

«Лилии молчат» — пронзительная книга о том, как трудно быть услышанным. И о том, как важно наконец заговорить.

Содержание

От автора	4
Часть первая. Лилии молчат	6
Глава 1. А.В., 53 года. Человек, который разучился звонить	6
Глава 2. М.Л., 34 года. Женщина, которая боялась тишины	16
Глава 3. С.К., 67 лет. Человек, который разговаривал с деревом	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Лилии молчат

Я не знаю, прочитает ли кто-то эту книгу. Но если вы держите её в руках — значит, вы тоже ищете голос в тишине. И это уже начало.

Трент Арнольд

От автора

Эта книга родилась из тишины.

Из тех вечеров, когда я сидел в кабинете один, а за окном шёл дождь. Из тех пауз, которые тянутся дольше, чем слова. Из тех разговоров, которые не состоялись, но продолжали звучать внутри.

Я много лет слушаю людей. Не как врач — как человек, который знает, что каждый из нас носит в себе историю, которую некому рассказать. Мы разучились звонить, писать, открывать окна и смотреть в зеркала. Мы боимся тишины, потому что в ней слышно всё, что мы пытаемся заглушить. Мы носим камни в карманах, чтобы чувствовать себя живыми. Мы коллекционируем билеты, чтобы помнить, что движемся.

Эти истории не выдуманы. Но они не о конкретных людях. Они о каждом из нас. О том, как трудно быть услышанным. И о том, как важно наконец заговорить.

Лилии на подоконнике — мои главные свидетели. Они не

говорят, но они слушают. Они умирают через неделю, но пока они здесь — они пахнут. Это всё, что мы можем сделать друг для друга. Молчать и быть рядом.

Часть первая. Лилии молчат

Глава 1. А.В., 53 года. Человек, который разучился звонить

Он пришёл в сером пальто.

Пальто было хорошее, дорогое когда-то — шерсть, подкладка до сих пор не порвана, пуговицы на месте. Такие пальто покупают не на сезон, а на годы. Он и носил его годы — лет десять, может, больше. Оно уже не грело, но держало форму, и он за это был ему благодарен. Вещи, которые держат форму, он уважал. Люди — реже.

На свитере под пальто были катышки. Он заметил их, когда сажился в кресло, — мелкие серые узелки на шерсти, как пенка на остывшем чае. Попытался стряхнуть движением пальцев — быстрым, почти незаметным, — потом бросил. Жест был короткий и точный, как подпись под неотправленным письмом. «А, неважно».

Я потом часто вспоминал этот жест. В нём было всё.

Мой кабинет — не самый уютный, но я стараюсь. На подоконнике — герань, которую я забываю поливать. На стене — репродукция Левитана: река, сумерки, лодка у берега. Пациенты часто смотрят на картину, когда не знают, куда деть

глаза. А.В. не смотрел. Он смотрел на свои руки, сложенные на коленях, — спокойные, крупные, с аккуратно подстриженными ногтями. Руки человека, который привык всё делать сам.

— Я, кажется, разучился звонить людям, — сказал он. — Это проблема? Он спросил это так, будто пришёл чинить тостер. Кнопка западает. Можно что-то сделать или проще купить новый? Голос у него был негромкий, ровный, без интонационных ям, в которые проваливается тревога. Только в конце фразы он чуть поднял бровь — единственное, что выдавало в нём заинтересованность.

Или её имитацию.

Я попросил рассказать. Он кивнул — вежливо, как кивают стюардессе, предлагающей воду, — и начал.

Он жил один. Не сразу к этому пришёл — сначала была жена, потом не было. Потом была ещё одна женщина, уже не жена, а так — попытка доказать себе, что он ещё кому-то нужен. Попытка кончилась тихо, без скандала: просто в какой-то вторник она собрала вещи, а он не спросил почему. Он знал почему.

Он сам бы от себя ушёл, если бы мог.

Детей не случилось. «Не сложилось», — сказал он, и это «не сложилось» прозвучало так же, как «не завели собаку» или «не купили дачу». Что-то, что могло быть, но не стало. Он не жаловался. Он просто перечислял факты, как перечисляют содержимое холодильника: яйца кончились, моло-

ко прокисло, семьи нет, друзей нет, смысла нет. Огурцы ещё есть — и то хлеб. Мать умерла четыре года назад. Квартиру продал. С отцом не общается с двадцати лет — «так вышло». Я спросил, что значит «так вышло». Он пожал плечами. Плечи были узкие, покатые — не слабые, а просто уставшие. Как вешалка, на которую слишком долго вешали тяжёлое пальто.

— Он не звонил мне. Я не звонил ему. Сначала было обидно, потом привык, потом перестал думать об этом. А потом он умер, кажется. Или не умер — я не знаю.

— Вы не знаете, жив ли ваш отец?

— Нет.

— И не хотите узнать?

— А зачем?

Он не циник. Циник скажет: «Все врут». А.В. такого не говорил. Он говорил: «Всё проходит». Это не цинизм — это пессимизм, который притворяется опытом. Он действительно не понимает. Связи между людьми для него — это что-то вроде телефонного провода: если по нему не передают информацию, он бесполезен. То, что провод можно просто держать в руке и чувствовать тепло с того конца, — эту мысль он давно отбросил как ненаучную.

Работает в проектном бюро. Чертит коммуникации — водопровод, отопление, канализацию. «Чтобы всё текло куда надо», — пояснил он и впервые за сессию усмехнулся. Усмешка была сухая, короткая, но искренняя. Я заметил, что у него хорошие зубы. Он следит за собой. Не из тщеславия

— из привычки. Чистить зубы, гладить брюки, варить суп на три дня вперёд, выбрасывать просроченные продукты, поливать цветы — ритуалы, которые держат его на плаву. Коллеги говорят о нём «надёжный». Он знает. Он слышал. «Надёжный» — это не комплимент, это характеристика инструмента. Молоток тоже надёжный, но с ним не садятся ужинать. Он не обижается. Обида требует ожиданий, а он давно перестал ждать от людей чего-то конкретного.

На корпоративы его не зовут — точнее, зовут, но формально, для галочки. Он не пьёт, не танцует, не рассказывает анекдоты. Когда-то давно он попробовал пойти — в первый год работы, кажется. Стоял у стены с пластиковым стаканчиком, смотрел, как бухгалтерия танцует под «Ласковый май», и не понимал, куда деть свободную руку. В карман — слишком небрежно. На стол — слишком развязно. Просто вдоль тела — слишком по-солдатски. Он ушёл через сорок минут, никто не заметил. С тех пор не ходит. Экономит сорок минут в год.

— Когда вы в последний раз звонили кому-то не по делу? — спросил я. Он задумался. Я следил за его лицом. Оно не менялось — просто стало чуть более неподвижным, как вода перед тем, как замёрзнуть. Кожа у него была сероватая, с глубокими порами, как пемза. Под глазами — мешки не от недосыпа, а от прожитых лет. Он выглядел на свои пятьдесят три, не пытался молодиться, не красил седину. Серые волосы на висках лежали ровно, как пепел, который уже не горячий.

— Лет семь назад, — сказал он наконец. — Другу детства. Валерка.

— Что случилось?

— Ничего. Мы договорились встретиться и не встретились. Я перезвонил через неделю — он сказал, что занят. Я ещё пару раз набирал — то я занят, то он.

Потом я перестал. Не обиделся. Просто перестал.

— О чём был последний разговор?

— О футболе. Или о машинах. Не помню.

— А если бы вы встретились сейчас, о чём бы вы говорили?

— Не знаю. О прошлом, которого не вернуть. О настоящем, которое у нас разное. О том, кто умер, кто женился, кто уехал. Выпили бы пива. Разошлись бы.

И ещё лет семь не звонили бы. Какой в этом смысл?

Он не ждал ответа. Он просто констатировал. Но в том, как он произнёс «какой в этом смысл?», мне послышалось эхо другого вопроса. «Какой в этом смысл, если я всё равно один?»

Я не стал его расшифровывать вслух.

На прошлой неделе он почти позвонил.

Был вечер. Он сидел на кухне, пил чай с ромашкой — не потому что любил ромашку, а потому что кончился чёрный, а идти в магазин было лень. За окном шёл дождь — мелкий, ноябрьский, из тех, что не падают, а висят в воздухе водяной пылью. Он смотрел в темноту и думал о том, что ноябрь

— самый честный месяц. Он ничего не обещает. Не как декабрь с его праздниками, не как май с его надеждами. Ноябрь просто говорит: «Вот я. Темно и мокро. Живи». Он достал телефон. Открыл список контактов — сорок три имени. Коллеги, бывшие однокурсники, дальние родственники, мастер по ремонту стиральных машин, риелтор, который помог продать квартиру матери. И Валерка. Просто «Валерка», без фамилии, без фотографии — старая SIM-карта не сохранила. Он посмотрел на имя. Палец завис над кнопкой.

Он представил, как набирает номер. Гудки. Голос Валерки — изменившийся, наверное, за семь лет, но всё ещё узнаваемый. «Алло?» И что дальше? «Привет, это я». — «Кто — я?» — «Я. А.В. Семь лет не звонил. Как ты?» Допустим, Валерка обрадуется. Допустим, скажет: «Чёрт, я всё время думал — надо тебя найти, а ты сам!» И что тогда?

Вот тут ему и стало страшно.

Страх пришёл не сразу. Сначала было тепло — воображаемое тепло от воображаемого разговора. Он представил, как они сидят где-нибудь в кафе, говорят о пустяках, и между словами — паузы, но не неловкие, а такие, какие бывают у старых друзей: молчание как продолжение беседы. Он почти почувствовал вкус пива на языке. Почти услышал смех Валерки — тот смеялся раскатисто, запрокидывая голову, заражая всех вокруг.

А потом — холод.

Холод пришёл от мысли: если всё это возможно, если Ва-

лерка жив, рад, смеётся, если между ними до сих пор есть воздух, которым можно дышать вдвоём, — то почему он не позвонил раньше? Почему ждал семь лет? Почему каждый день делал выбор в пользу тишины?

Ответ был простой: он боялся. Не отказа — отказа он бы пережил. Он боялся, что его примут. Потому что принятие означало бы, что одиночество — это не судьба, а его собственная работа. Что стена, которую он строил годами, была не защитой от мира, а клеткой, которую он сам для себя сколотил. И если это так, то что ему делать с этой правдой? Как жить дальше, зная, что можно было иначе?

Он убрал телефон в карман. Чай остыл. Он вылил его в раковину — жёлтая лужица растеклась по нержавеющей. Пошёл в комнату. Включил телевизор — какая-то передача про путешествия, ведущий ест устриц и улыбается.

Выключил. Сел на диван. Встал. Подошёл к окну.

За окном горел фонарь. Жёлтый свет падал на мокрый асфальт, и лужа под фонарём была похожа на разбитое яйцо — белок растёкся, желток светится в центре. Он смотрел на эту лужу и думал, что его жизнь сейчас — примерно такая же. Растеклась во все стороны, держит форму только за счёт бортиков, а в центре — горячее пятно, которое он никому не показывает. Он подумал: может, написать? Не звонить — написать. Коротко. Без обязательств. «Привет, Валер. Вспомнил тебя сегодня. Как ты?» Сообщение можно отправить в любой момент. Можно даже ночью. Оно не требует ответа

сразу. Оно висит в телефоне, как нераспустившийся бутон, — и адресат может открыть его утром, днём, через неделю.

Он открыл мессенджер. Нашёл Валерку — тот был онлайн сегодня в 18:43. Набрал текст. Стёр. Набрал снова. Стёр. Потом написал: «Привет. Это А.В. Не знаю, помнишь ли ты меня. Мы дружили в школе. Я тут подумал — дай, думаю, напишу. Как ты?»

Палец завис над кнопкой «Отправить».

Он представил, что Валерка прочитает это сообщение. Поднимет бровь. Скажет жене: «Слушай, мне тут старый друг написал, сто лет не общались». Или не скажет. Или улыбнётся. Или сотрёт не читая. Или ответит сразу же: «Ого! Ты!

Конечно помню! Как ты?» И завяжется переписка. Или не завяжется. Он не знал, что страшнее.

Он не отправил. Убрал телефон в карман. Выключил свет в кухне. Прошёл в спальню. Там, на подоконнике, стояли лилии — белые, с жёлтой пыльцой на тычинках. Он купил их три дня назад в переходе метро, у женщины с обветренными руками. Она сказала: «Берите, мужчина, они долго стоят». И он взял.

Теперь они стояли в стеклянной вазе, и запах от них шёл густой, сладкий, почти невыносимый. Ему нравилось. Он сел на край кровати и просто смотрел на них. Лилии не спрашивали, как прошёл день. Не говорили «надо бы встретиться». Не обещали перезвонить. Они просто были. И этого

было достаточно.

Он думал: может, в этом и есть секрет? Может, нужно не ждать звонка, а просто быть? Как лилия. Как фонарь за окном. Как дождь. Не требовать. Не надеяться.

Не бояться. Просто быть — и пусть мир делает с тобой что хочет.

Но где-то внутри он знал: это не сработает. Потому что человек — не лилия. Человеку нужен другой человек. Не для разговора. Не для информации. Просто для того, чтобы чувствовать затылком: ты не один. Кто-то дышит в соседней комнате. Кто-то помнит, как ты смеёшься. Кто-то знает, что ты жив.

Он лёг в кровать. Закрыв глаза. Завтра среда. Надо на работу. Надо жить дальше.

Надо просто жить.

Телефон лежал на тумбочке экраном вверх. Индикатор мигал зелёным — зарядка 100%. Он смотрел на этот огонёк и думал о том, что где-то там, в цифровом пространстве, висит ненаписанное сообщение. Или написанное и стёртое. Или даже отправленное — во сне, в параллельной жизни, в той версии реальности, где он нажал кнопку.

В той версии реальности Валерка уже ответил. В этой — он ещё нет.

На следующей сессии он расскажет мне о лилиях. Я спрошу: «Почему именно они?» Он ответит: «Они молчат и пахнут». Я запишу это в блокнот и подумаю, что это самая точ-

ная метафора отношений, которую я слышал за последние годы. Молчать и пахнуть. Быть рядом. Не давить. Но присутствовать. А пока он спит. Или не спит — просто лежит с закрытыми глазами и слушает, как капает кран на кухне. Кран он чинил дважды, но тот всё равно течёт — тонкой струйкой, почти бесшумной. Ритм успокаивает.

Тик — белая полоса.

Так — чёрная.

Тик — позвонил.

Так — не позвонил.

Сегодня он выбрал «не позвонил». Но он пришёл ко мне. Он сидел в кресле и говорил о катышках на свитере, о супе на три дня, о фонаре за окном. Он был здесь. Он был.

Это уже белая полоса, даже если она кажется ему серой.

Глава 2. М.Л., 34 года. Женщина, которая боялась тишины

Она пришла в понедельник утром — первая запись в этот день, и я ещё не успел допить кофе. На бланке, который она заполнила в коридоре, было указано: «М.Л., 34 года». Почерк мелкий, буквы прыгают, как пульс при тахикардии.

В кабинет она вошла быстро — слишком быстро для человека, который пришёл к психологу. Обычно пациенты замедляются на пороге: снимают обувь или не снимают, оглядываются, ищут, куда сесть. М.Л. не оглядывалась. Она села в кресло, поставила сумку на пол, поправила волосы и заговорила раньше, чем я успел представиться.

— Я боюсь тишины. Не в переносном смысле. В прямом. Когда в комнате тихо, у меня начинается паника. Сердце бьётся, ладони потеют, хочется бежать. Я поэтому всегда включаю телевизор. Даже ночью. Даже когда сплю. Телевизор или радио, или подкаст, или белый шум. Что угодно, лишь бы не тишина.

Она говорила и смотрела мне прямо в глаза. Не агрессивно — скорее, как человек, который привык защищаться нападением. «Я знаю, что я странная. Я знаю, что вам придётся со мной повозиться. Давайте сразу к делу».

Я попросил её рассказать, когда это началось.

Началось пять лет назад. Она тогда жила одна — снимала однокомнатную квартиру на окраине, работала диспетчером в службе такси, по ночам принимала заказы. Смена длилась двенадцать часов, и всё это время в наушниках звучали голоса: «Машину на Ленина, 14», «Девушка, а вы мне счёт не можете прислать?», «А почему водитель опаздывает?» Голоса были разные — злые, уставшие, пьяные, сонные, — но они были всегда. Она привыкла к этому шуму, как привыкают к шуму моря: он становится фоном, частью дыхания.

А потом она уволилась. Нашла другую работу — в офисе, дневную, тихую. И в первый же вечер, когда она села на диван в своей съёмной квартире и выключила телефон, наступила тишина.

Она описывала её так, будто это было живое существо. «Тишина вошла в комнату и села напротив. Я смотрела на неё, а она — на меня. И я поняла, что мне страшно. Не просто неуютно — страшно до тошноты, до дрожи, до желания выбежать в подъезд и позвонить в любую дверь, лишь бы услышать человеческий голос».

— Что именно пугало вас в тишине? — спросил я.

Она задумалась. Впервые за сессию она не ответила мгновенно.

— В ней никто не врёт, — сказала она наконец. — В тишине слышно всё, что ты пытаешься заглушить. Свои мысли. Свои страхи. Свой голос, который говорит тебе: «Ты одна. Ты всегда была одна. И всегда будешь». Шум спасает от

этого. Шум — это как... как одеяло. Он укутывает. Он не даёт правде добраться до тебя.

Я спросил про детство. Она не удивилась — видимо, ждала этого вопроса.

В детстве было шумно. Она росла в коммуналке, где жили шесть семей, и тишины там не было никогда. Кто-то жарил рыбу, кто-то ругался с женой, у кого-то плакал ребёнок, у кого-то орал телевизор, и всё это сливалось в один непрерывный гул. Она спала под этот гул, делала уроки под этот гул, выросла под этот гул. Он заменял ей колыбельную.

— Когда мы переехали в отдельную квартиру, мне было двенадцать. И первую ночь я не могла уснуть. Не потому что было страшно — а потому что было тихо. Я слышала, как тикают часы в коридоре. Как дышит мать за стеной. Как скрипят половицы, когда сосед сверху ходит. Раньше я этого не замечала — всё тонуло в шуме. А тут вдруг — каждый звук как удар. Я лежала и слушала своё сердце. И мне казалось, что если оно остановится, никто не заметит.

— А мать? — спросил я. — Вы говорили с ней об этом?

— С матерью? — она усмехнулась. — Мать была занята. Она всегда была занята. Работала на двух ставках, приходила поздно, падала без сил. Когда я пыталась что-то рассказать, она кивала и говорила: «Потом, доча, потом». Потом не наступало.

Я записал в блокноте: «Мать отсутствовала. Физически — рядом, эмоционально — нет. Тишина как метафора одино-

чества в детстве. Шум как суррогат присутствия».

А потом подумал о лилиях. Они стояли у меня на подоконнике — те самые, белые, с жёлтой пыльцой. Я купил их три дня назад в том же переходе метро, что и А.В., — совпадение, которое я заметил только сейчас. Они уже начинали увядать: лепестки по краям побурели, но запах всё ещё держался — сладкий, густой, почти осязаемый.

— Вы чувствуете запах? — спросил я вдруг.

М.Л. остановилась. Она как раз рассказывала про свою квартиру — про то, как расставила по комнатам колонки, чтобы музыка звучала отовсюду, — и вдруг замолчала.

— Да, — сказала она. — Лилии.

— Вы любите цветы?

— Нет.

— Почему?

— Потому что они пахнут слишком сильно. Особенно лилии. Они как... как тишина. Слишком настоящие. Слишком живые. Я не люблю запахи, которые нельзя выключить.

Вот оно. Я чуть не улыбнулся, но сдержался. Она сама вывела метафору, ради которой я завёл этот разговор. Лилии — как тишина. Их нельзя выключить. Они просто есть, и они говорят: «Мы здесь. Мы живые. Мы пахнем». Для М.Л. это невыносимо — потому что если она признает, что лилии существуют, ей придётся признать и то, что существует тишина. А в тишине — правда.

Я спросил, что будет, если она выключит все колонки, все

телевизоры, все наушники — и останется в тишине на минуту. Всего на минуту.

Она побледнела. Честно побледнела — я видел, как кровь отлила от её лица, будто кто-то выдернул пробку.

— Я не могу.

— Почему?

— Потому что если я останусь в тишине... я услышу, что меня нет.

— В каком смысле — нет?

— В прямом. Нет меня. Нет моего голоса. Нет моей жизни. Есть только пустота, которая притворяется человеком. Я работаю, плачу налоги, покупаю продукты, ставлю лайки, смеюсь над шутками коллег, даже хожу на свидания иногда. Но всё это — шум. Я создаю шум, чтобы не слышать, что внутри ничего нет.

Она заплакала. Беззвучно, не меняя позы, не закрывая лица — просто слёзы потекли по щекам, и она не стала их вытирать. Кажется, она даже не заметила их.

Оставшуюся часть сессии мы говорили о том, что она называла «пустотой». Я слушал и думал: это не пустота. Это та же самая комната, в которой лежит без сна мой предыдущий пациент — А.В. Та же жёлтая полоса от фонаря на потолке. Тот же телефон экраном вниз. Только А.В. заполнил эту комнату тишиной и сросся с ней, а М.Л. пытается заполнить её шумом, но шум не спасает — он только маскирует.

— Знаете, что самое страшное? — сказала она перед ухо-

дом. — Я иногда думаю: может, со мной что-то не так не потому, что я одинока. Может, я одинока, потому что со мной что-то не так. Может, люди чувствуют эту пустоту и обходят меня стороной. Как воронку. Как сквозняк. Может, я не человек, а просто форма, которую забыли наполнить.

Я не успел ответить — она встала и вышла. Быстро, как вошла. Только на этот раз мне показалось, что она убегает.

После сессии я сидел в кабинете и смотрел на лилии. Они молчали. Пахли. Бурели по краям.

Я думал о том, что М.Л. права — и неправа одновременно. Да, внутри неё есть пустота. Но эта пустота — не отсутствие содержания. Это рана. Рана, которую она получила в двенадцать лет, когда впервые осталась в тишине и поняла, что никто не придёт. Мать не придёт. Соседи не придут. Мир не придет. И с тех пор она заливает эту рану шумом — музыкой, голосами, подкастами, чужой речью, чем угодно, что способно заглушить боль.

Но рана не заживает под слоем шума. Она гноится.

Лилии на подоконнике пахли всё слабее. Я знал, что через пару дней их придётся выбросить. Но пока они были здесь — живые, молчаливые, настоящие. Как тишина, которую М.Л. так боится.

Я открыл блокнот и записал:

М.Л., 34 года. Диагноз: тахикардия при тишине. Страх не тишины — страх себя. Шум как защита от внутреннего голоса. Лилии не любит — они «слишком настоящие». Следу-

ющая сессия — четверг.

Домашнее задание: попробовать выключить телевизор на пять минут перед сном. Не на час. Не на тридцать минут. На пять. Посмотреть, что будет. И ещё: купить лилию. Одну. Поставить в вазу. Не включать музыку, когда будет смотреть на неё. Просто сидеть и смотреть. Просто позволить ей быть.

Закрыв блокнот. За окном шёл снег — первый в этом году. Крупные хлопья падали медленно, как будто не хотели долетать до земли. Телефон на столе молчал. Я не включал радио.

В кабинете было тихо.

Глава 3. С.К., 67 лет. Человек, который разговаривал с деревом

Он пришёл не один. Его привела дочь — высокая женщина лет сорока, с уставшим лицом и быстрыми движениями человека, который привык всё делать сам, потому что никто не сделает. Она ввела его в кабинет, усадила в кресло, поправила ему воротник и сказала:

— Он разговаривает с деревом. Каждый день. Уже три месяца. Я понимаю, что это звучит... но вы послушайте его сами. Я не знаю, что делать. Врачи говорят — возраст, деменции нет, просто чудит. Но он перестал говорить с нами. С внуками. Со мной. А с деревом — говорит.

Я попросил её подождать в коридоре. Она вышла, бросив на отца взгляд, в котором смешались любовь, раздражение и страх. Он проводил её глазами и впервые за всё время улыбнулся.

— Хорошая девочка, — сказал он. — Только шумная очень. Вся в мать.

Его звали С.К. Шестьдесят семь лет. Бывший учитель географии. Вдовец — жена умерла три года назад. Живёт с дочерью и её семьёй в частном доме на окраине. В саду растёт старый вяз — ему лет семьдесят, может, больше. С.К. сам его сажал, когда они с женой только переехали. Тогда это

был тонкий прутик с двумя листьями, теперь — дерево в два обхвата.

— Она мне сказала: «Ты с ума сошёл, папа. С деревом разговариваешь. Люди смеются. Соседи пальцем показывают». А я ей говорю: «Пусть показывают. Им бы тоже не помешало с кем-нибудь поговорить. Хоть с фонарным столбом. Глядишь, меньше бы злились».

Он говорил спокойно, с мягкой усмешкой. Глаза у него были светлые, выцветшие, но не пустые — в них ещё теплилось что-то, что я не сразу смог опознать. Потом понял: интерес. Ему было интересно. И мне, и дочери, и самому себе.

— О чём вы говорите с деревом? — спросил я.

— О разном. О погоде. О том, что птицы в этом году поздно прилетели. О том, что сосед опять забор перекрасил в дурацкий зелёный цвет. О том, что внук пошёл в первый класс и боится, что его будут обижать.

— И дерево вам отвечает?

— Нет. Оно слушает.

Он сказал это так просто, так очевидно, что я на секунду позавидовал. Пациенты часто говорят мне: «Меня никто не слушает». Они имеют в виду — не слышит, не понимает, не принимает. А С.К. нашёл собеседника, который просто слушает. Не перебивает. Не даёт советов. Не закатывает глаза. Стоит и принимает всё, что ему говорят, — как земля принимает воду.

— Когда умерла жена, — продолжал он, — я сначала го-

ворил с ней. Ну, знаете, как это бывает. Прихожу на кухню, а там никого. А я всё равно говорю: «Лена, я чай поставил. Ты с лимоном будешь или с молоком?» И сам себе отвечаю: «С лимоном». И смеюсь, и плачу. Дочь думала — всё, поехал дед. А я просто не мог перестать с ней разговаривать. Мне казалось, что если я замолчу, она окончательно исчезнет. Не из памяти — из жизни. Из воздуха. Из запаха.

— А потом?

— А потом я перестал. Однажды вышел в сад, сел под вязом и сказал: «Лена, я устал говорить с пустотой. Давай я буду говорить с деревом. Ты не обижайся. Просто дерево — оно живое. Оно шумит листьями. Оно пахнет. С ним как-то... легче». И знаете, она не обиделась. Я чувствую, что она там, под корнями. Не в смысле — похоронена. В смысле — душа. В земле. В корнях. В листьях.

Он замолчал и посмотрел в окно. За окном ничего не было — только серое небо и мокрый асфальт.

Я спросил, почему он перестал говорить с дочерью. Он долго молчал. Потом сказал:

— Потому что она не слушает. Она... она беспокоится. Она хочет как лучше. Она водит меня по врачам, покупает лекарства, готовит диетический суп. Но когда я начинаю говорить о том, что мне на самом деле важно, она говорит: «Папа, ты устал. Отдохни. Это возраст». Она не специально. Она любит меня. Просто она не может понять, что мне не нужен отдых. Мне нужен кто-то, кто выслушает и не скажет

«ЭТО ВОЗРАСТ».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.